

В. Я. КИРПОТИН

Ф. М.

# ДОСТОЕВСКИЙ

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

(1821—1859)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1960

двор, куда сходились караваны верблюдов и вьючных лошадей, казармы, казенный госпиталь и присутственные места. Училищ, кроме одной уездной школы, не было. Аптека — даже и та была казенная. Магазинов, кроме одного галантейного... никаких: все выписывалось с Ирбитской и Нижегородской ярмарок; о книжном магазине и говорить нечего, — некому было читать (книжного магазина не было и в Омске. — В. К.). Я думаю, во всем городе газеты получали человек 10—15, да и немудрено, — люди в то время в Сибири интересовались только картами, попойками, сплетнями и своими торговыми делами. Не забывайте, что в это время шла Крымская война, но ею мало интересовались: уж слишком было далеко, да это и не было свое, «сибирское» дело. Сибиряки держали себя тогда особняком и говорили: «он из России»<sup>1</sup>.

Из Семипалатинска Достоевский наезжал в Кузнецк, где совершилось его бракосочетание с Марией Дмитриевной Исаевой. Кузнецк был хуже и Омска и Семипалатинска. Жили в Кузнецке уж совершенно «бог знает кто» (Письма, I, 175), и «жить в Кузнецке было ужасно» (там же, 198).

Сплетни составляли основной интерес городской «общественности» и в Омске, и в Семипалатинске, и в Барнауле (где Достоевский останавливался проездом). О Барнауле Федор Михайлович писал: «Хлопотливый город, и сколько в нем сплетен и доморошеных Талейранов» (Письма, I, 204), но по сравнению со сплетницами названных трех городов кузнецкие кумушки казались Достоевскому уже просто «гадинами» (Письма, I, 185).

Семипалатинское чиновничье «общество» жило вне культурных интересов страны и даже не имело настоящей оседлости, так как судьба его всецело зависела от административных проектов и мероприятий более высокого начальства. «...характер наших сибирских городов, — резюмировал свои впечатления Достоевский из Семипалатинска, — это внезапный наплыв общества, съезд чиновников, и потом, при первой перемене властей в Сибири, все это исчезает так быстро, как и яви-

<sup>1</sup> А. Е. Врангель, Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири, 1912, стр. 20—21.

лось, уступая место другим» (Письма, II, 577). «В Семипалатинске... семейных домов нет или очень мало. Наехала бездна народа одинокого. Все, начиная с губернатора, холостые. А только семейное общество придает физиономию городу. Тут только и может быть разнообразие жизни. Холостой же круг вечно всегда и везде живет одинаково» (Письма, II, 578).

Достоевскому не к кому было примкнуть. «Скучно, — жаловался он, — а кругом все так плохо, и людей нет. Я почти никуда не хожу. Знакомиться терпеть не могу. Право, на каждого нового человека, по-моему, надо смотреть как на врага, с которым придется вступать в бой» (Письма, I, 160).

Когда Достоевский писал эти строки, продиктованные тоской и отчаянием, он не забывал, что в Сибири не раз встречал и руку помощи, и душевное сочувствие. Он всю жизнь вспоминал с благодарностью жен декабристов, приветивших его уже у самого порога каторжной обители. Но жены декабристов были женами людей, политически в это время уже вполне смирившихся, и сами они могли только на мгновение обогреть Достоевского на его тернистом пути да подарить евангелие как наставление для полного идеологического саморазрушения.

Дружба с А. Е. Врангелем, жившим в Семипалатинске в 1854—1856 годах, краткие встречи с Чоканом Валихановым не могли изменить общей картины.

Отношениям Достоевского к Врангелю не хватало равенства, — не в том, конечно, смысле, что родовитый и обеспеченный чиновник занимал более высокое общественное положение, чем приговоренный в солдаги писатель. По уму, знаниям, духовному размаху и устремлениям Достоевский был неизмеримо выше своего семипалатинского друга, и настолько, что, уча его, руководя его чтением, помогая ему советами в его любовных делах, и не пытался раскрыться перед ним полностью, до конца. «Это человек очень молодой, очень кроткий, хотя с сильно развитым point d'honneur, — рекомендовал его Федор Михайлович брату, побуждаемый самыми доброжелательными чувствами, — немножко с юношескими недостатками; образован, но не блестательно и не глубоко, любит учиться, характер очень слабый, женски-впечат-

Было и еще одно важное обстоятельство, вносявшее существенную разницу в условия нового начала литературной деятельности обоих писателей.

Салтыков-Щедрин освободился от вятского плена сразу же после смерти Николая I и прошел вместе с передовой общественностью все ступени ее восхождения к социально-политическому кризису 1861—1862 годов. Достоевский же и после каторги, в течение долгих шести лет семипалатинской солдатчины, жил, мыслил и эволюционировал вне влияния все ширившегося общественного подъема.

Характерной — и отрицательной — особенностью русских шестидесятых годов было отставание движения в провинции от столиц. Строки Некрасова:

В столице шум, гремят витии,  
Кипит словесная война,  
А там, во глубине России,  
Там вековая тишина... —

передавали положение дел в стране довольно точно.

В Семипалатинске вековая тишина была особенно непробудна. Нерегулярно получаемые подцензурные газеты и журналы, вне устной информации, вне живых и страстных споров, не могли ввести Достоевского в смысл совершившихся событий. Поглощенный трудными, долгими и неотложными хлопотами, одинокий, без политических друзей и единомышленников, вне столкновений с идеяными противниками, он в затхлом своем захолустье не чувствовал биения пульса нового, отставал от того, чем кипела общественная и литературная жизнь в Петербурге.

Как частный человек, Достоевский вышел из каторги не сломленным, не сдавшимся. Он готов был к одолению препятствий, чтобы устроить свою личную судьбу, чтобы вернуться к литературной своей профессии. Об этом свидетельствуют и его письма и люди, наблюдавшие его в Семипалатинске. А. Е. Врангель знал Достоевского в Сибири «хотя несчастного, больного, но еще не надломленного, бодрого и сильного духом»<sup>1</sup>. Взвешивая перспективы женитьбы на Исаевой, Достоевский воскликнул в письме к тому же Врангелю: «Ну неужели, имев

<sup>1</sup> А. С. Врангель, Воспоминания о Ф. М. Достоевском, 1912, стр. 36.

столько мужества и энергии в продолжение шести лет для борьбы с неслыханными страданиями, я не способен буду достать столько денег, чтоб прокормить себя и жену. Вздор! Ведь, главное, никто не знает ни сил моих, ни степени таланта, а на это-то, главное, я и надеюсь» (Письма, I, 171).

Жизненных сил, упорства, даже «воли железной»<sup>1</sup>, несмотря на нервность, колеблемость и неясность убеждений, в Достоевском в самом деле был все еще непочтенный край, а до каких вершин мог подняться его талант, отдавал себе отчет, несмотря на публично сделанные пророческие предсказания Белинского, вероятно только он один; но что в России произошел чрезвычайной важности исторический сдвиг, он не понимал, ибо неоткуда ему было черпать такое понимание.

Дожив до долгожданного дня выхода из острога, Достоевский с жадностью ищет книг, чтобы вновь приобщиться к живительным истокам духовной жизни человечества. Но интересы его продиктованы, с одной стороны, инерцией сороковых годов, а с другой — религиозными и религиозно-философскимиисканиями, разбуженными в нем перенесенными страданиями и общением с каторжанами. Еще из Омска Федор Михайлович просит брата: «Не забудь же меня снабдить книгами, любезный друг. Главное: историков<sup>2</sup>, экономистов, «Отечественные записки», отцов церкви и историю церкви... знай, брат, что книги — это жизнь, пища моя, моя будущность... пришли мне коран. Критику чистого разума Канта и... непременно Гегеля, в особенности Гегелеву историю философии» (Письма, I, 139). Из Семипалатинска, тотчас по прибытии, он повторяет свою просьбу, несколько расширяя перечни: «Журналов не надо, а пришли мне европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидида, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д.)... Наконец коран и немецкий лексикон... Пришли мне тоже физику Писарева и какую-нибудь физиологию... Пойми, как нужна мне эта духовная пища!» (Письма, I, 145.)

<sup>1</sup> А. С. Врангель, Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири, 1912, стр. 34.

<sup>2</sup> древних и новых; в сноске Достоевский называет Вико, Гизо, Тьеरри, Тьера, Ранке и т. д. и т. д.

получных и сытых и еще с большей симпатией стал видеть в униженных и оскорбленных — *своих*.

Достоевскому как художнику еще предстояло сказать свое слово в искусстве.

Несмотря на тяжелейшие испытания, на каторгу, подневольную солдатскую службу, одиночество, болезнь, неустроенность, нужду, в душе Достоевского не угасала страстная тяга к своему призванию. В голове его кипели творческие замыслы и тогда, когда он сидел в Петропавловской крепости, и тогда, когда он стоял на эшафоте, и в остроге, и в казарме. Главное облегчение, которое Достоевский почувствовал, перейдя из омской каторги в Семипалатинск, состояло в возможности взяться за перо и бумагу.

По письмам может показаться, что долго и мучительно восстанавливавшийся в правах Достоевский стремился вернуться к литературе как к профессии, чтобы завоевать себе средства на жизнь, для себя, для семьи, чтобы восстановить себе положение человека, гражданики равноправного с другими. Утверждая свое моральное право жениться на Исаевой, Достоевский писал Врангелю (23 марта 1856 года): «Теперь самое важнейшее — деньги. Две вещи, одна статья, другая роман, будут готовы к сентябрю. Хочу формально просить печатать. Если позволят, то я на всю жизнь с хлебом... Ведь если позволят печатать (а я не верю, слышите: не верю, чтоб этого нельзя было выхлопотать), ведь это гул пойдет, книга раскупится, доставит мне деньги, значение, обратит на меня внимание правительства, да и возвращение придет скорей. А мне что надо: 2—3 тысячи в год ассигнациями» (Письма, I, 171). «Да, друг мой, — делится он с братом, — я знаю, что сделаю себе карьеру и завоюю хорошее место в литературе. К тому же, я думаю, что литературой, обратив на себя внимание (курсив Достоевского — *В. К.*), я выпутаюсь из последних затруднений, оставшихся в моей горькой доле» (Письма, II, 570).

Побывавши, как выражался Достоевский, в «таких передрягах», он выжил себе, «наконец, несколько философии» («...слово, — поясняет он брату, — которое толкуй, как хочешь»; Письма, II, 559), — то есть приобрел, как ему мнилось, житейский здравый смысл и

вол, лихоимство, повальное взяточничество создавали атмосферу, в которой не могли нормально развиваться самосознание и нравственные устои достаточных слоев населения Сибири, доступного наблюдению Достоевского.

Это отражалось в трансформации сибирских городов, в которые привел Достоевского приговор по процессу петрашевцев. Они строились первоначально как крепости, для защиты раздвинувшихся границ, для схраны поселенцев от неприятельских «перелазов», захватов в плен, увода в невольничество, угона скота. Отодвигавшаяся все дальше граница русской оседлости и русского государства привела к отмиранию военно-стратегических функций и Омска, и Семипалатинска, и Кузнецка. Их рост как городов, как средоточия общественности, промышленности и культуры лежал еще в далеком будущем. Для Омска он отчасти начался к концу XIX века, когда подошедший железнодорожный путь вовлек его в процесс капиталистического развития. Но настоящий расцвет Омска и настоящее созидание Кузнецка и Семипалатинска начались только в нашу, социалистическую эру. Во времена Достоевского упрочение безопасности края, укрепление оседлости населения, результат пролитой крови, напряженных усилий, невероятных трудов, обернулись — как бы по иронии истории, а на деле вполне по логике монархическо-крепостнического строя — превращением этих городов в становища по-паучьи жадных чиновников и в каторжно-ссыльные пункты.

В итоге долгого и трудного развития, после многих побед и одолений, вошедших в летописи, крепости преобразовались в остроги. В зданиях, предназначенных раньше для военно-боевых целей, размещались училища. Техника возведения новых тюрем совпадала с техникой возведения старых укреплений. Острожная стена, за которой томился Достоевский, была построена из таких же заостренных бревен-палей, из каких состояли первоначальные стены и Омска, и Семипалатинска, и Кузнецка.

«Сибирь, — рисовал Достоевский. — На берегу широкой пустынной реки стоит город, один из административных центров России; в городе крепость, в крепости острог» (V, 434). Это не только краткое и точное описание Омска, но и схема его истории: чиновники расположи-

Достоевский, гений, начинал чуть что не мечтать о том, чтобы выйти из казармы в гражданскую службу чиновником: «Я сам ведь буду чиновник, и скоро, может быть» (Письма, I, 175), — убеждал он себя и других в своем праве жениться на Исаевой и добавлял, что чиновничество именно и будет той средой «хороших людей», которой он окружит свою будущую жену. Он думал не только о Кавказе, он готов был согласиться на Барнаул: «Начальник Алтайских заводов полковник Гернгросс... очень желает, чтоб я перешел служить к нему, и готов дать мне место с некоторым жалованiem в Барнауле. Я об этом думаю...» (Письма, II, 561.)

Мечась, как орел в клетке, Достоевский начинал вдруг взвешивать в уме проекты «громадных» спекуляций, «простор» для которых открывала все та же Сибирь: «...Здесь, в Сибири, с очень маленьким капиталом (ничтожным) можно делать хорошие и верные спекуляции. Если бы я здесь, в Семипалатинске, имел только 300 руб. сер. лишних, то я на эти 300 нажил бы в год еще 300. Край новый и любопытный» (там же).

В Семипалатинске и в Кузнецке сохранились дома, в которых жил Достоевский во время своей сибирской ссылки. Достаточно подойти к ним и войти внутрь, достаточно оглянуться на улицы, где они стоят, пока еще сохранившие многое в своем внешнем облике от середины XIX века, чтобы понять, как тесен, неприютен и бесперспективен был горизонт, давивший угнанного в далекую глушь писателя. Тогда это не были доживающие свой век захолустья, окраины, вытесняемые грандиозным индустриальным и жилищным строительством. Это были хорошие дома на хороших, видных улицах — грязных весной и осенью, пыльных летом, занесенных сугробами зимой; и ни одной общей мысли не было ни в одном доме, и не было перехода от того, что кипело в голове Достоевского, к тому, чем жили, чем интересовались окрестные обыватели.

В ясные, погожие дни Достоевский уезжал куда-либо на лоно природы — в Казаков сад, в Локоть или Змиев. Круглое желтое солнце, слепя глаза, опускалось в розовое марево, скрывающее недоступные ему родные места, где он приобщился к всемирному движению мысли и искусства, чтобы наутро вновь осветить восточный край неба, Азию, немую могилу (будто бы немую могилу),